

С. Ю. Малышева
**«ЛУЧШЕ, КОГДА ЭТО РЕШЕНО ДЛЯ ВСЕХ»:
 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ В ОСМЫСЛЕНИИ СМЕРТИ
 В ЗАПИСКАХ Л. Я. ГИНЗБУРГ 1920–1940-х гг.**

doi: 10.30759/1728-9718-2020-4(69)-127-135

УДК 82-94

ББК 83.3(2)+84(2)

В статье рассматривается, как на протяжении 1920–1940-х гг. проблемы смерти, конечности человеческого существования, бессмертия, посмертного ритуала, вины и раскаяния осмысливались и развивались выдающимся российским литературоведом и мыслителем Л. Я. Гинзбург в интереснейших свойственных ей формах эго-документов. Пограничность жанра ее записок и автобиографических повествований — между эго-документами и литературой — обусловила тесное переплетение в ее размышлениях личного, социального и исторического опыта, а также интеллектуальной традиции осмысления факта конечности жизни и способствовала созданию оригинальной авторской системы представлений о смерти. В статье показаны этапы формирования этих представлений, взаимосвязанные с проявившимися в советской истории 1920–1940-х гг. аспектами смерти. От рефлексии середины 1920-х гг. по поводу «легкости» и незамечаемости смерти — оборотной стороны обесценивания жизни — Гинзбург приходит во второй половине 1930-х гг. к необходимости концептуального осмысления смерти, без которого понимание смысла жизни оказывалось невозможным. Опыт войны и блокады наполняет это осмысление пониманием природы героизма и героической смерти (как единственно возможной свободы в условиях несвободы войны), механизмов работы горя, вины и раскаяния как трагического околосмертного опыта при потере близких. Понимание смерти, проникнутое гуманизмом и социальной ответственностью, ощущением переживания общих человеческих связей, стало важнейшей составляющей концепции жизни человека постиндивидуалистической эпохи у Гинзбург.

Ключевые слова: *историческая танатология, смерть, погребальный ритуал, самоубийство, Л. Я. Гинзбург, эго-документы, блокада Ленинграда*

Записки и автобиографическая проза Лидии Яковлевны Гинзбург (1902–1990) — блестящего литературоведа и мемуариста, выдающегося российского мыслителя XX в. — стали доступны читателям лишь во второй половине 1980-х гг. Исследователями уже неоднократно отмечены своеобразие и непохожесть на привычные формы источников личного происхождения, черты «некой социокультурной и эстетической вневходимости» ее автобиографической эссеистики, жанр которой сама Л. Я. Гинзбург определяла как «роман по типу дневника или... дневник по типу романа», «промежуточную литературу».¹ Это один из интереснейших вариантов эго-документов XX в., созданных интеллектуалами. Для Л. Я. Гинзбург границы между эго-документами и ли-

тературой были подвижными и исторически обусловленными.² Это свойство ее мемуаристики американский филолог Э. Ван Баскирк обозначила как «самоотстранение»: «Ее тексты упорно сопротивляются тому, чтобы их воспринимали как мемуары или автобиографию. ... автор постоянно словно бы “отворачивается” от собственного “я”».³

Однако именно в этом свойственном Лидии Яковлевне жанре эго-документа ярко высвечивается тесное переплетение индивидуального и социального, которым пронизано содержание ее текстов. «Я ощущаю себя как кусок вырванной с мясом социальной действительности», — признается она в записной книжке в 1931 г.⁴ Действительно, в этих эго-документах непростая индивидуальная человеческая и творческая судьба Гинзбург неразрывно

¹ Складов О. Н. «Мысль, описавшая круг» Лидии Гинзбург как художественно-философское исследование // Вестн. Православного Свято-Тихоновского гум. ун-та. Серия III: Филология. 2014. Вып. 4 (39). С. 48.

Малышева Светлана Юрьевна — д.и.н., профессор кафедры отечественной истории, Казанский (Приволжский) федеральный университет (г. Казань)
 E-mail: Svetlana.Malycheva@kpfu.ru

² См.: Ван Баскирк Э. Личный и исторический опыт в блокадной прозе Лидии Гинзбург // Гинзбург Л. Я. Проходящие характеры: проза военных лет. Записки блокадного человека. М., 2011. С. 511, 512.

³ Она же. «Самоотстранение» как этический и эстетический принцип в прозе Л. Я. Гинзбург // Новое литературное обозрение. 2006. № 5 (81). С. 261.

⁴ Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002. С. 99.

сплавлялась как с историей литературы и философии XIX–XX вв., а именно с российской интеллектуальной традицией, продолжательницей которой она являлась, так и со всеми перипетиями советской истории XX столетия, почти полностью совпавшего со временем ее жизни. Соотносимость персонального опыта, с одной стороны, с переживаниями ее соотечественников и современников, а с другой стороны, его органическая встроенность в российский и европейский интеллектуальный дискурс ярко проявляются в размышлениях о смерти и ее осмыслении, которыми изобилуют автобиографические тексты Гинзбург.

Э. Ван Баскирк в книге, написанной на огромном материале как опубликованных произведений Гинзбург, так и ее архива,⁵ реконструируя интеллектуальный проект Гинзбург и ее концепцию постиндивидуалистического человека, отчасти касалась и рассмотрения роли смерти в этой концепции (в частности, в разделах главы 1 — мысли Гинзбург о «легкости смерти» в XX в., история вины и раскаяния в ее «Заблуждении воли» и «Рассказе о жалости и жестокости»). В данной статье предпринята попытка рассмотреть эволюцию размышлений Гинзбург о смерти на основе ее «Записных книжек» 1920–1940-х гг. (в том числе не публиковавшихся при жизни автора), повествований «Мысль, описавшая круг» и «Заблуждение воли» (конец 1930-х гг.), созданных в военные годы «Записок блокадного человека» и «Вокруг “Записок блокадного человека”», «Рассказа о жалости и жестокости».

Эти аспекты наследия Гинзбург оказываются весьма актуальными в ряде современных историографических контекстов. Ее размышления подтверждают как оправданность интереса к специфике «советской субъективности», проявляющейся в эго-документах и показывающей многослойность советского общества,⁶ так и значимость объяснительного потенциала эго-документов.⁷ Они контекстуализируются и в пространстве современных историко-танатологических исследований,⁸ обозначают перспективы понимания советского общества

через изучение персонального отношения к смерти, зафиксированного в источниках личного происхождения.

«Легкая» смерть 1920-х гг.: шаг в неведомое

Размышления о смерти появляются в записных книжках Л. Я. Гинзбург в середине 1920-х гг. И одна из первых рефлексий касается суицида.

В те годы по стране прокатилась волна самоубийств. Современников поражали легкость, с которой люди лишали себя жизни, подчас отсутствие видимых на то оснований, множество не замечаемых смертей. У этого явления было много причин — социально-политических, психологических, медицинских. Исследователями отмечено, что всплеск самоубийств середины 1920-х гг. был своеобразной отложенной реакцией общества на стресс от военных и революционных потрясений 1914–1920-х гг.⁹ Нормализация насильственной смерти, деформация морально-психологических представлений о норме и девиации, насаждение неуважительного отношения к смерти вообще не могли не сказаться и на представлении о ценности собственной жизни. На протяжении 1920-х гг. изменяется и статус суицида в советском обществе и советской культуре. Он утрачивает символический героический статус, который имел в революционном дискурсе и традиции политического мученичества начала XX в.¹⁰ Во второй половине 1920-х гг. суицид быстро стигматизируется. Так, самоубийства, последовавшие за гибелью С. А. Есенина, уже рассматривались чуть ли не как нарушения общественного порядка.¹¹ Однако почти до конца 1920-х гг. суицид еще не позиционируется как антисоветский и анти-социальный акт, акт социального эскапизма.¹²

Смерть Есенина нашла отражение в записках Л. Я. Гинзбург как своеобразная демонстрация. «Есенин повесился», — записала она, заметив, что в нынешних условиях «кажется, что он это сделал нарочно, для вящего безобразия и чуть ли не из литературных соображений»,

⁵ См.: Van Buskirk E. Lydia Ginzburg's Prose: Reality in Search of Literature. Princeton, 2016 (пер. на русский: Ван Баскирк Э. Проза Лидии Гинзбург: реальность в поисках литературы. М., 2020).

⁶ Об этом см.: Hellbeck J. Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin. Cambridge; London, 2006; и др.

⁷ О понимании и значимости эго-документов: История в эго-документах: Исследования и источники. Екатеринбург, 2014; и др.

⁸ О них см.: Мальшева С. Ю. «На миру красна»: инструментализация смерти в Советской России. М., 2019. С. 5–16; и др.

⁹ См.: Тяжелникова В. С. Самоубийства коммунистов в 1920-е годы // Отечественная история. 1998. № 6. С. 159–160.

¹⁰ См.: Могильнер М. Б. Мифология «подпольного человека»: радикальный микрокосм в России начала XX века как предмет семиотического анализа. М., 1999. С. 177–196.

¹¹ См.: Лебина Н. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю. М., 2015. С. 370, 371.

¹² См.: Morrissey S. K. Suicide and the Body Politic in Imperial Russia. Cambridge, 2006. P. 14–16, 346, 349, 350; Pinnow K. M. Lost to the Collective: Suicide and the Promise of Soviet Socialism, 1921–1929. Ithaca; London, 2010. P. 1, 2.

и тут же сделав отсылку к персонажу Достоевского: «Это все, кажется, пошло от Ставрогина».¹³ Но все же смерть Есенина стала для Гинзбург поводом высказать мысль о своем восприятии самоубийства и самоубийц. Говоря о рождающейся в связи с гибелью поэта «легенде», она заявляет, что для нее самой «каждый самоубийца ходит в ореоле». Однако этот ореол, «подобострастие» (по ее выражению), очевидно, не имел ничего общего ни с сожалением, ни с восхищением, ни с оценкой личности самоубийцы: он относился к совершенному акту — шагу в неведомое. Гинзбург пишет, что никогда не жалеет самоубийц, поскольку для нее смерть — «такая непонятная и ужасающая вещь», что она завидует людям, «которые поняли ее до такой точки, что отважились ее себе причинить», и избавили себя «от того неизбежного для всех нас ужасающего момента, когда мы будем хотеть жить — и будем умирать».¹⁴ Но ее отношение к суициду оказывается неоднозначным: в оценке этого шага, по-видимому, играла роль степень близости к самоубийце. Ведь столкнувшись с попыткой самоубийства близкого человека осенью 1927 г., она не склонна была наделять его ореолом, напротив, обнаружила, что, будучи совершенным, суицид, как «вредная глупость и неприличие», мог вызвать в ней совсем другие чувства — и тоже не жалость, а равнодушие и озлобление.¹⁵

Самоубийство В. В. Маяковского пятью годами позже рождает уже иные размышления, связанные не столько с самим актом суицида, сколько с посмертным восприятием поэта. О его смерти она узнала по пути в издательство — там остановилась работа, все обсуждали случившееся, по выражению одного из сотрудников, «как в день объявления войны». В этом всеобщем внимании и пересудах Гинзбург увидела, с одной стороны, унижительность посмертного попадания во власть чьей-то жалости и притворства, воздаяния внешних знаков почтения — даже людьми, не ценившими и не любившими неудобного человека при жизни и теперь ощущавшими свое «биологическое превосходство» живых над покойным. С другой стороны, ее поразило внезапно пришедшее к ней понимание, что умер великий поэт. И это побудило Л. Я. Гинзбург к размышлениям об историчности отношения к

смерти и к страху смерти. Для нее, как для литератора, оказалось логичным историзировать смерть, прежде всего в самом близком и знакомом контексте — истории русской литературы. Она вспомнила разговор с Ю. Н. Тыняновым о нераспространенности страха смерти во времена Пушкина и декабристов и о появлении его во второй половине XIX в.: начиная с И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого и заканчивая Л. Андреевым, «страх обуял целые поколения, все возрасты... Потом опять пошел на убыль».¹⁶ Три года спустя она вспомнит, возможно, тот же разговор с Тыняновым — 1926 г., когда он «хотел еще умереть молодым», и его типологию сроков смерти писателей и поэтов, согласно которой они умирали либо юношами, либо в 37 лет, либо в 40 с небольшим, а остальные доживали до 82 лет.¹⁷ К этой поверке своих мыслей классиками литературы и философии, их судьбами и отношением к смерти Гинзбург будет возвращаться в своих записках неоднократно.

В 1928 г. одна не такая громкая, как самоубийство двух известных поэтов, но поразившая ее смерть от родов библиографа и переводчицы Н. В. Рыковой, жены друга и соседа по квартире — литературоведа Г. А. Гуковского, стала толчком напряженных многолетних раздумий Гинзбург, которые в конце 1930-х гг. из отдельных записей впечатлений оформятся в ее известное автобиографическое повествование «Мысль, описавшая круг». Помимо вскользь прозвучавшей в записках темы сожаления (раскаяния), ее растерянность вызвали тогда по крайней мере два момента, к которым она вновь вернется в своих размышлениях позже. И оба они были связаны с единичностью индивидуальной смерти, обобщаемой и упорядочиваемой религиозным обрядом. Ее шокировал нестерпимый диссонанс интимности конкретной смерти близкого, знакомого человека и ритуальной абстрактности, обобщенности религиозного обряда — упоминания живого имени в панихиде. И такое же противоречие: продолжающееся унижительное бытование мертвого тела в мире живых, непонятное и нервирующее, которое почему-то казалось понятным и нормальным двум совершавшим погребальный обряд приготовления покойницы старым женщинам.¹⁸

¹³ Гинзбург Л. Я. Записные книжки. С. 374.

¹⁴ Там же.

¹⁵ См.: Там же. 398.

¹⁶ Там же. С. 79, 80, 82.

¹⁷ См.: Там же. С. 419.

¹⁸ См.: Там же. С. 398, 402.

Пригодная для жизни теория смерти

Л. Я. Гинзбург четко выстраивала историю своего интереса к пониманию смерти, накапливавшиеся личные впечатления — от бессознательных впечатлений ранней юности периода гражданской войны. Простая женщина в платке и с кошелкой, с которой переживали в подворотне грохот боя во время занятия родного города Красной армией, и открытие, что эта женщина боится не того же, что она сама — боится сиюминутного, пулеметного треска и раскатов, «но небытия, разверзающегося мгновенно, она не боится, потому что не может его себе представить».¹⁹ Первое сознательное впечатление — та самая смерть Рыковой весной 1928 г. — первая «не вообще смерть, но смерть, увиденная в ее единичности».²⁰ Лет семь спустя, в 1935 г., эта тема для Гинзбург уже стала «необходимой для понимания, может быть для оправдания жизни».²¹ Один из ключевых пунктов, толчок к упорядоченному, перенесенному на бумагу осмыслению смерти — уход одного из мэтров Серебряного века М. А. Кузмина в марте 1936 г., формально-равнодушный, «бюрократический характер» организации погребения которого Литфондом неприятно поразил Гинзбург: без родственников, из больницы, с опоздавшими на день приглашенными повестками²² — квинтэссенция чиновничьего равнодушия и неуважения, результат формировавшегося десятилетиями сниженного отношения к смерти, утраты ее достоинства.

Действительно, в традиционной культуре предельный ужас индивидуального сознания перед распадом и небытием и растерянность перед мертвым телом укрощались религиозным чувством, верой в бессмертие души и снимались отлаженным религиозным обрядом. Кризис индивидуализма в XX в., Первая мировая война и революция, последующие драматические события 1920–1930-х гг. в России собирали огромный урожай «легких», то есть легко причиняемых и совершаемых, незамечаемых смертей, они стали обыденным явлением. Борьба с религией, отрицание личного бессмертия, секуляризация жизни — при довольно распространенном, в отсутствие какого-либо предложенного взамен (если не счи-

тать краткосрочного существования обряда «красных похорон»), религиозном погребальном обряде («изматывающей чередой непривычных действий»),²³ делали смерть все более необъяснимой, непонятной и нуждающейся в осмыслении. В сгущающейся обстановке 1930-х гг.,²⁴ накануне новой мировой войны Л. Я. Гинзбург тревожило, что «с этой вот недодуманностью люди так и войдут в самую большую войну»,²⁵ будут умирать и убивать, так и не осмыслив факт смерти.

Ради «возможности жить без ужаса» она полагает необходимым иметь теорию смерти, «пригодную для жизни»,²⁶ ставя амбициозную задачу найти более или менее универсальное («лучше, когда это решено для всех»)²⁷ понимание смерти, без которого невозможно понимание смысла жизни.

Свои мысли она пробует, оттачивает в разговорах с людьми — и из своего литературного круга, и со случайными собеседниками (например, в парикмахерской). Так, в качестве предлога для разговора о смерти («возбудителя») ею используется газетная статья о возможности удвоения срока жизни. Гинзбург пристально вглядывается в различные реакции своих современников на факт смерти — вытеснение самой мысли о ней, иронию и небрежность, высокомерную и не понимающую смерть храбрость.²⁸

Гипотетическая возможность продления жизни требовала высказаться о проблеме бессмертия. Вслед за З. Фрейдом Гинзбург полагает, что страх бессмертия не меньше, чем страх смерти, индивидуалистическое сознание не может примириться ни с тем, ни с другим. Религиозные представления о бессмертии (души) были приемлемы для человека, поскольку «переключали... в иную модальность, непостижимую для смертного ума». Вечное же существование в земных условиях было бы невыносимо.²⁹ Как она заметила позже, в записках военных лет, «когда человек хочет вечности, то он, разумеется, вовсе не хочет

²³ Там же. С. 544.

²⁴ Гинзбург в эти годы весьма проникательно оценивала происходящее в стране, анализировала механизмы примирения, адаптации к происходящему — собственные и коллег по цеху. См.: Зорин А. Лидия Гинзбург: опыт «примирения с действительностью» // Новое литературное обозрение. 2010. № 1 (101). С. 32–51.

²⁵ Гинзбург Л. Я. Записные книжки. С. 547.

²⁶ Там же.

²⁷ Там же. С. 552.

²⁸ См.: Там же. С. 548–550.

²⁹ См.: Там же. С. 553.

¹⁹ Там же. С. 566.

²⁰ Там же. С. 543.

²¹ Там же.

²² См.: Там же. С. 542, 543.

вечного повторения разрозненных и переходящих мгновений своей жизни. Он, напротив того, хочет вечности, легко укладывающейся в любое мгновение; вечности как внутренне-го опыта, как непосредственного и непостижимого абсолюта».³⁰ Позиционирующая себя атеистом, а иногда агностиком,³¹ Гинзбург утверждает, что представление о сверхличном абсолюте может быть перенесено на социальные объекты, сосредотачивает внимание на социальном бессмертии как на «необходимой предпосылке социальной жизни», позволяющей человеку «сражаться, изобретать, растить детей, составлять завещание и, хороня своих мертвых, писать на камне их имена».³² Позже, в военных записях, она будет размышлять о парадоксальной включенности безрелигиозного человека в конструктивную связь всего, что было до него и будет после него, заключая, что именно это «иррациональное переживание общих связей — условие, делающее возможным и рационалистическую этику неверующих, и смутную этическую рутину повседневной жизни».³³

«Мысль о смерти воспитуема», — заявляет Гинзбург: ее формирует внушаемая социумом система оценок, и ее давление оказывается сильнее, чем страх смерти. Более того, в XX в. утрата личностью индивидуалистического самоощущения дезавуировала и безусловную ценность этой личности.³⁴ В записях времен войны Гинзбург заметит, что эти экстремальные военные условия еще более усугубляют проблему смерти — ее несвободой, абсолютным подчинением частного общему. «Во время войны свободны только герои»,³⁵ поскольку они снимают несвободу тем, что добровольно идут на заведомую смерть во имя общего дела.

Итак, социум предписывает норму обращения со смертью. Однако в рамках этой общей предписанной социальной нормы каждый сам справляется с определением личного отношения к смерти. Гинзбург выделяет три типа такого отношения — в зависимости от типа личности. Условно их можно обозначить как «герои», «обычные люди», «интел-

лектуалы». Первые — люди с сильной волей к воздействию на окружающую действительность, любящие жизнь и энергично вытесняющие мысль о смерти, но все же готовые идти на смертельный риск ради самореализации. Вторые — люди пассивные и чувственные, воспринимающие и любящие жизнь как набор разорванных моментов удовольствия, они испытывают физиологический страх перед распадом организма, возможностью страданий, физически боятся процесса умирания. Третий тип (к которому Гинзбург относит себя) — люди, одержимые волей к познанию, всматривающиеся в тайны бытия и потому не испытывающие физического ужаса перед смертью. Их больше страшит небытие как прекращение процесса мышления, понимания. Гинзбург описывает идеальную смерть для этих людей (и для себя): «Пусть еще столько лет на осознание всего, что можно еще осознать. В конце великое насыщение и усталость. Не та усталость от тщетного наслаждения, от рассеивающего труда, которая придает времени неощутимость и возбуждает праздное желание вернуть и исправить все поглощенное временем, — но усталость от времени замедленного и переполненного, подробно отраженного сознанием...»³⁶ Творчество, как и любовь, оказывается важным средством преодоления трагического сознания своей конечности и реализации стремления принадлежать к внеположному абсолюту.³⁷

В этом повествовании 1930-х гг. Гинзбург вновь возвращается к так поразившему ее в 1928 г. противоречию между конкретной индивидуальной смертью и ее абстрагирующей оформленностью религиозным обрядом. Она вернулась к этим мыслям, созерцая и анализируя пространство разделенного на две части кладбища Александро-Невской лавры — «старого» и «нового».³⁸ В этих размышлениях примечательна почти одобрительная оценка роли обряда — стабилизирующей, упорядочивающей понимание смерти. Так, порицая безвкусицу памятников как на старом кладбище («усыпальницы — навесы на трамвайной остановке (даже с водосточными трубами)»,

³⁰ Там же. С. 170; Гинзбург Л. Я. Проходящие характеры. С. 200.

³¹ О. Н. Скляров полагает, что атеизм Гинзбург не столь однозначен, а «мы имеем дело если не с движением от агностицизма к “философской вере”, то по крайней мере с осознанной устремленностью к тому, что превосходит безверие». См.: Скляров О. Н. Указ. соч. С. 52.

³² Гинзбург Л. Я. Записные книжки. С. 560.

³³ Она же. Проходящие характеры. С. 448.

³⁴ См.: Она же. Записные книжки. С. 563, 577.

³⁵ Она же. Проходящие характеры. С. 302.

³⁶ Она же. Записные книжки. С. 554–557.

³⁷ См.: Там же. С. 569.

³⁸ «Коммунистическая площадка» появилась на кладбище Александро-Невской лавры в 1919 г. Здесь были похоронены участники обороны Петрограда 1919 г., жертвы Кронштадтского восстания 1921 г., а в 1920-е-1930-е гг. — партийные функционеры, деятели революционного движения, науки и культуры, военные, коммунисты и атеисты.

«усыпальницы-киоски для продажи мороженого и газированной воды»), так и на новом (пропеллеры, страшная гипсовая статуя с позолоченными лицом и руками), Л. Я. Гинзбург замечает, что «только символика устойчивая, абстрактная соответствует органическому ощущению смерти». Она оговаривается, что таковой может быть не только культовая символика, но, например, гранит могил Марсового поля как знак революционной жертвенности. Более жестко оценивается ею «музеефикация» части старого кладбища лавры, куда советская администрация в своей «иерархически-бюрократически-культурпросветовской уверенности» собрала памятники исторических, по ее мнению, покойников, избавившись от всех прочих. Гинзбург не без сарказма констатирует: «Непонимание небытия, раскрепощенное от ритуальных форм, бурно вырвалось на свободу».³⁹ Созерцание трогательных попыток традиционного украшения могил, приношений покойным (лукошко с веночком, образком и фотографией, надписи на лентах, обращенные к умершему), обнаруживающихся как на старом, так и на новом кладбище, для Гинзбург свидетельствует об одном и том же — о нелогичном равнодушии, о том, что «любовь и отчаяние борются до конца с мыслью о тотальном исчезновении любимого человека, с тем, что уже ничего нельзя для него сделать и никак нельзя с ним снестись».⁴⁰ Ритуальные действия оказываются универсальной формой, с помощью которой даже нерелигиозное сознание может помыслить небытие близких, смягчить понимание смерти, обрести утешение и уверенность. В начале повествования Гинзбург вновь вспоминает двух старых женщин, приготавливавших к погребению тело Рыковой в 1928 г. и воплощавших для нее «мир ритуальности»: их уверенность, отсутствие страха и слабонервности, благообразное отношение к смерти. Тогда ее атеистическое сознание воспринимало ритуал как процесс вытеснения мертвого тела, ее шокировало конкретное имя, периодически раздиравшее «целительный туман» ритуального абстрагирования, панихиды.⁴¹ Опыт видения на кладбище лавры побуждает ее высказываться о функции ритуальности скорее сочувственно — в том смысле, что ее устойчивость и абстрактность не противоречат, а скорее созвучны органическому ощущению смерти.

³⁹ Гинзбург Л. Я. Записные книжки. С. 558, 559.

⁴⁰ Там же. С. 560.

⁴¹ См.: Там же. С. 544.

Необратимость вины

Тема вины, скорби, раскаяния — обработки горя от смерти другого — в записках Л. Я. Гинзбург отчасти связана с периодом блокады Ленинграда, с опытом «ленинградства». Однако эта связь не абсолютна: тема появляется еще во второй половине 1930-х гг. в написанной к «Мысли...» вариации «Заблуждение воли». Она теснейшим образом связана прежде всего с блокадным «Рассказом о жалости и жестокости», а также с «Записками блокадного человека».

Э. Ван Баскирк проанализировала оба эти повествования — «Заблуждение воли» и «Рассказ...» — как истории моральной слабости, истории вины конкретного автобиографического персонажа.⁴² Гинзбург, используя прием отстранения, говоря в третьем лице о некоем «Оттере» («автор» или «другой») или позже об «Эн», рассказывает о самых болезненных страницах своей жизни, обнажая собственную вину и раскаяние перед умиравшими и зависшими от нее родными стариками — дядей (в «Заблуждении...» — отец Эн) и восемь лет спустя, во время блокады — матерью (в «Рассказе...» — тетка Оттера).

Однако у этих автобиографических текстов есть не только индивидуальная основа: Гинзбург помещает свои горькие размышления также в социальный, исторический и интеллектуальный контекст. Анализируя свое собственное раскаяние и чувство вины, она обращается к мысли А. Шопенгауэра о том, что раскаяние — казнь воли, которая сделала не то, что она хотела, и подтверждает: «раскаяние — это вина и трагедия воли», которая в прошлом могла сделать то или иное для близкого человека, но не сделала. И необратимость сделанного или несделанного, заблуждение воли становятся источником страданий того, кто испытывает вину и раскаяние. Это глубоко личная и не снимаемая никакими обстоятельствами вина. Но она не единична, а следовательно, у нее есть и исторический контекст, и социально-психологическая подоплека.

Гинзбург наблюдает, как меняется отношение к смерти в блокадном Ленинграде — от потрясения к равнодушию, обыденности смерти: «о первых случаях смерти знакомых людей еще думали..., еще говорили», потом «разговоры постепенно сжимались до констатации

⁴² Ван Баскирк Э. Проза Лидии Гинзбург... С. 109–124.

факта».⁴³ Она замечает, что возможность собственной гибели также со временем вытесняется непосредственными переживаниями — голодом, холодом, а самая распространенная смерть — от дистрофии — квалифицируется ею как «медленная» смерть,⁴⁴ процесс постепенного и неуклонного, «легкого» уничтожения человека, «загадочность» которого состоит в том, что необратимое начало его незаметно, «что мы даже не знаем, в какой именно момент нам следует оплакивать наших близких».⁴⁵ Однако исторический контекст миллионов военных и блокадных смертей все же ничего не меняет в предельном ужасе восприятия каждой единичной смерти. Гинзбург неоднократно повторяет в своих записках и повествованиях эту мысль: каждая человеческая смерть конкретна и миллионы смертей ужасны даже не их числом, а тем, что миллион раз умирает какой-то один конкретный человек.⁴⁶ И ее автобиографические повествования — это не только описание вины, но и рассказ об умирании, о смерти конкретной, не абстрагированной до обобщения, которая, как и каждая, имеет значение.

Не оправдываясь, не снимая с себя собственной вины, Гинзбург ищет корни распространенной обыденной жестокости и безжалостности, обусловленной не только персональными чертами характера. Она препарирует чувство жалости не как эмоцию, а в качестве социально-психологического явления, требующего наличия двух условий: чувства дистанции и чувства ответственности. Чтобы жалеть больного и умирающего, надо быть относительно здоровым и к тому же иметь какое-то отношение, близость к страждущему, нести за него ответственность. Гинзбург ставит жесткий диагноз безжалостности своему веку: «Люди XIX века ко всему на свете хотели иметь отношение. Они верили, что можно исправить социальное зло социальными средствами, и эта уверенность наделяла их сознанием долга и в особенности сознанием вины. О, они умели жалеть!», но люди XX в. другие — «непрочные, неблагополучные, не располагающие дистанцией между человеком и его бедой. Они знали, что с ними может случиться все, что только случается с человеком. Из них многие

безжалостны, потому что ни к чему не имеют отношения. Они не могли помочь и потому не хотели помочь».⁴⁷ Сами страдающие, они не в силах вместить чужое страдание, и чем больше страдающих вокруг, тем больше равнодушие к ним как к явлению статистическому.

Измученный и голодающий, автор автобиографического повествования также не позволяет себе понять страдание и умирание родного человека, за которого нес ответственность и жизнь которого устраивал, — чтобы это понять, утешить, успокоить, пожалеть, нужно было погрузиться, «войти в это как в свою реализацию».⁴⁸ И за эту конкретную жизнь, которую не смог сберечь, за эту конкретную смерть автор несет вину. Чувство вины для Л. Я. Гинзбург оказывается не менее страшно и болезненно, чем чувство собственной конечности, его оказалось невозможным унести с собой, не высказав, не выплеснув на бумагу. О болезненности переживания свидетельствует и отстраненная форма повествования не о себе, а о третьем лице, а также тот факт, что один из этих текстов был опубликован в самом конце жизни Гинзбург, а второй так и не был ею опубликован до смерти.

Возможно, написанием этих автобиографических исповедей Гинзбург совершала то же самое действие, что женщины с кладбищ Александро-Невской лавры в ее записках 1930-х гг., — примирялась с невозможностью снести с покойными родными, необратимостью вины и прощения. Ведь ее выплеснувшееся на бумагу покаяние — это те же лукошко с веночком и образком, надписи на ленте с надеждой на встречу и прощение. Написание этих текстов сродни совершению религиозного ритуала в его специфической для пишущего человека, интеллектуала, письменной форме. И в этом плане, вероятно, не так далеко от истины утверждение о неоднозначности ее атеизма и о ее «осознанной устремленности к тому, что превосходит безверие».⁴⁹

Осмысление смерти являлось одной из важных перманентных тем автобиографических записок Л. Я. Гинзбург, через которую она пыталась прийти к пониманию жизни постиндивидуалистического человека — собственной и своих современников. Записи

⁴³ Гинзбург Л. Я. Записные книжки. С. 647.

⁴⁴ См.: Там же. С. 631, 629.

⁴⁵ Гинзбург Л. Я. Проходящие характеры. С. 24.

⁴⁶ См.: Она же. Записные книжки. С. 589, 728; Она же. Проходящие характеры. С. 22, 23.

⁴⁷ Она же. Записные книжки. С. 587–589.

⁴⁸ Она же. Проходящие характеры. С. 54.

⁴⁹ Скляр О. Н. Указ. соч. С. 52. См. сноску 31.

Гинзбург — интереснейший пример того, как личная жизнь и интеллектуальный опыт, зафиксированные в эго-документах, постепенно претворяются в оригинальную и стройную систему представлений о смерти.

Размышления в записках Гинзбург оттачиваются от опытов личного соприкосновения со смертью. Однако они достаточно прозрачно соотносятся с теми событиями смерти и окосмертного опыта, которые проявлялись в тот или иной исторический период. Она высказывается о суициде во второй половине 1920-х гг., когда по России прокатилась волна самоубийств. Во второй половине 1930-х гг., в период обесценивания человеческой жизни, забюрокративания всех сторон повседневности, в том числе и смерти, и нарастания секулярности в отношении к смерти, она размышляет о бессмертии, о смерти как о необходимости «оправдания жизни», о функциях

похоронного ритуала. В блокадном Ленинграде Гинзбург осмысливает страшный опыт выживания, обыденности умирания от дистрофии, восприятия смерти своей и чужой, работу скорби и раскаяния.

Смерть и ее аспекты воспринимаются и осмысляются ею в конкретном контексте той или иной исторической ситуации, периода, но ее размышления непременно как встраиваются в интеллектуальный контекст осмысления смерти литературой XIX–XX вв., так и складываются в важнейшую составляющую ее концепции жизни. Понимание смерти в ней проникнуто высоким гуманизмом и социальностью, ощущением переживания общих человеческих связей, сдержанным оптимизмом по поводу общей рациональной этики отношения к смерти. А самореализация в творчестве становится одним из важнейших средств преодоления травмы конечности человеческой жизни.

Svetlana Yu. Malysheva

Doctor of Historical Sciences, Kazan Federal University (Russia, Kazan)

E-mail: Svetlana.Malycheva@kpfu.ru

“IT’S BETTER WHEN IT’S DONE FOR EVERYONE”:
THE INDIVIDUAL AND THE SOCIAL IN THE COMPREHENSION
OF DEATH IN L. YA. GINSBURG’S NOTES OF THE 1920–1940s

The article considers how during the 1920–1940s the problems of death, finality of human existence, immortality, postmortem ritual, guilt and repentance were thought through and developed by the outstanding Russian literary critic and thinker L. Ya. Ginzburg in the interesting and peculiar forms of ego-documents. The borderline nature of genre of her notes and autobiographical “narratives” — between ego-documents and literature — have led to a close interweaving in her reflections of personal, social and historical experience, as well as the intellectual tradition of thinking about the finitude of life and contributed to the creation of an original author’s system of ideas about death. The article shows the stages of formation of these perceptions correlated with the aspects of death actualized in this or that period of Soviet history in the 1920–1940s. From the reflection of the mid-1920s on the “lightness” and unremarkableness of death, a reverse side of the devaluation of life, Ginzburg came in the second half of the 1930s to the necessity of conceptual thinking about death, without which understanding the meaning of life was impossible. Experience of the war and blockade fills this reflection with an understanding of the nature of heroism and heroic death (as the only possible freedom in conditions of unfreedom of war), of the mechanisms of the work of grief, guilt and remorse as a tragic near-death experience in the event of loss of loved ones. The understanding of death, imbued with humanism and sociality, with a sense of experience of common human connections, has become an essential part of Ginzburg’s concept of human life in the postindividualist era.

Keywords: *historical thanatology, death, funeral rite, suicide, L. Ya. Ginzburg, ego-documents, blockade of Leningrad*

REFERENCES

- Hellbeck J. *Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin*. Cambridge, Mass.; London: Harvard University Press, 2006. (in English).
- Istoriia v ego-dokumentakh: Issledovaniia i istochniki* [History in Ego-Documents: Research and Sources]. Ekaterinburg: “AsPUR” Publ., 2014. (in Russ.).

Lebina N. *Sovetskaya pousednevnost': normy i anomalii. Ot voennogo kommunizma k bol'shomu stilyu* [Soviet everyday life: norms and anomalies. From military communism to big style]. Moscow: NLO Publ., 2015. (in Russ.).

Malysheva S. Iu. "Na miru krasna": *instrumentalizatsiia smerti v Sovetskoii Rossii* ["Beautiful in Public's Eyes: instrumentalization of death in Soviet Russia]. Moscow: Novyy khronograf Publ., 2019. (in Russ.).

Mogil'ner M. B. *Mifologiya "podpol'nogo cheloveka": radikal'nyi mikrokozmos v Rossii nachala XX veka kak predmet semioticheskogo analiza* [Mythology of the "Underground man": radical microcosm in early 20th century Russia as a subject of semiotic analysis]. Moscow: NLO Publ., 1999. (in Russ.).

Morrissey S. K. *Suicide and the Body Politic in Imperial Russia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. (in English).

Pinnow K. M. *Lost to the Collective: Suicide and the Promise of Soviet Socialism, 1921–1929*. Ithaca, London: Cornell University Press, 2010. (in English).

Sklyarov O. N. ["The thought that has made a circle" by Lidiya Ginzburg as a literary and philosophical study]. *Vestnik Pravoslavnogo Svyato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriya 3: Filologiya* [St. Tikhon's University Review. Series III: Philology], 2014, no. 4 (39), pp. 46–66. DOI: 10.15382/sturIII201439.46-66 (in Russ.).

Tyazhel'nikova V. S. [Communists' suicides in the 1920s]. *Otechestvennaya istoriya* [Domestic History], 1998, no. 6, pp. 158–173. (in Russ.).

Van Baskirk E. ["Self-Exclusion" as an ethical and aesthetic principle in L. Ya. Ginzburg's prose]. *Novoe literaturnoe obozrenie* [New Literary Review], 2006, no. 5 (81), pp. 261–281. (in Russ.).

Van Baskirk E. [Personal and historical experience in the blockade prose of Lydia Ginzburg]. *Ginzburg L. Ya. Prokhodyashchie kharaktery: Proza voennykh let. Zapiski blokadnogo cheloveka* [Ginzburg L. Ya. Passing characters: war years prose. Notes of the besieged man]. Moscow: Novoe izdatel'stvo Publ., 2011, pp. 506–530. (in Russ.).

Van Baskirk E. *Proza Lidii Ginzburg: real'nost' v poiskakh literatury* [Lydia Ginzburg's prose: reality in search of literature]. Moscow: NLO Publ., 2020. (in Russ.).

Van Baskirk E. *Lydia Ginzburg's Prose: Reality in Search of Literature*. Princeton: Princeton University Press, 2016. (in English).

Zorin A. [Lydia Ginzburg: the experience of "reconciliation with reality"]. *Novoe literaturnoe obozrenie* [New Literary Review], 2010, no. 1 (101), pp. 32–51. (in Russ.).

К статье С. Ю. Мальшевой



Портрет Лидии Яковлевны Гинзбург, 1929 г.



«Сад Смерти». Художник Хуго Симберг, 1896 г.